

Письмо из далекого, огненного 1943 года и рассказы, написанные тогда же, передал в редакцию наш давний интереснейший автор Иван Георгиевич Якушкин, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы РАН. Родом он из семьи с многолетними гуманитарными традициями, идущими от декабриста И.Д. Якушкина. Помимо естественных наук наш автор посвятил много времени изучению различных вопросов истории и филологии, знаменит в научно-элитарных столичных кругах лекциями и изданиями по истории культуры Европы и России... А тогда ему, мальчику, едва-едва понимающему, какой большой бедой объята Родина, дядя — Дмитрий Иванович Якушкин, только что надевший погоны лейтенанта, передал с просьбой сохранить тетрадку и письмо.

«Дорогой Ваня!

Мне бы хотелось, чтобы эту тетрадку ты прочел тогда, когда станешь уже достаточно взрослым. Вот уже более полтора лет идет Отечественная война, превращая в сплошной хаос сотни человеческих жизней. Тебе сейчас только 6 лет, мне, в конце концов, немногим больше, и я часто думаю, как мы с тобой похожи. Я думаю, к 18 годам ты будешь такой же, каким был я, когда прозвучало радио 22 июня. Ког-

да ты вырастешь, о войне ты будешь иметь представление как об отрывочных неясных картинках детства, с одной стороны, а с другой — ты будешь знать о ней, как об историческом факте, описанном в десятках учебников, книг и журналов. Мне кажется, что и то, и другое будет недостаточным для тебя...

1943 год».

Сегодня это письмо и рассказы стали не только уникальным историческим свидетельством военной эпохи, но и выразительным штрихом к портрету человека яркой судьбы — Дмитрия Ивановича Якушкина. В овечьем славы роду именно ему было суждено стать вторым профессиональным военным после своего прапрадеда — Ивана Дмитриевича Якушкина, героя Отечественной войны 1812 года, капитана знаменитого мятежного Семеновского полка, который он вывел на Сенатскую площадь в Петербурге 14 декабря 1825 года, за что был приговорен к 20 годам каторги. С тех пор военных в семье больше не было. Но в 1923 году произошло событие, которому было суждено повлиять на это обстоятельство. В городе Воронеже в семье служащего Ивана Вячеславовича Якушкина, ставшего впоследствии академиком ВАСХНИЛ, родился мальчик, нареченный Дмитрием.

Ни о какой военной карьере он и не

мечтал, напротив, хотел пойти по стопам отца — ученого-естествоведа. Великая Отечественная война круто перестраивала многие судьбы. Так и 18-летний Дмитрий добровольцем пошел на фронт, окончил Саратовское танковое военное училище. Ускоренный выпуск 1942 года был направлен под Сталинград... В армии Дмитрий Иванович прослужил до 1947 года. Участвовал в Параде Победы. Но даже это знаменательное в жизни молодого человека событие не подтолкнуло к выбору военной карьеры. Якушкин поступил на экономический факультет МГУ, по окончании которого в 1953 году начал работать в Министерстве сельского хозяйства РСФСР, был помощником министра И.А. Бенедиктова.

И все же Дмитрию Ивановичу, славному потомку капитана Якушкина, на роду было написано служить Отечеству на военном поприще. Рубежным стал 1960 год, когда ему предложили перейти во внешнюю разведку. Этой сложнейшей работе он отдал 26 лет безупречной службы, из которых в общей сложности 14 лет — в США. Лишь один штрих: уже первая длительная командировка в Нью-Йорк молодого разведчика, работавшего под дипломатическим прикрытием, была отмечена государственной наградой — медалью «За боевые заслуги».

Затем в 1969 году Д.И. Якушкин был назначен заместителем начальника американского отдела ПГУ КГБ СССР, потом он стал начальником дру-



Генерал-майор
Дмитрий Иванович Якушкин

гого важного отдела разведки. С 1975 по 1982 годы Дмитрий Якушкин возглавлял резидентуру внешней разведки в Вашингтоне.

Даже уйдя в 1986 году в отставку, Дмитрий Иванович не отошел от активной творческой жизни, работал политическим и дипломатическим обозревателем ТАСС. Здесь он в полной мере реализовал свой огромный зарубежный опыт и знания в области международных проблем, щедро делясь всем этим с молодыми коллегами вплоть до своей кончины в 1994 году.

Владимир НОВОСЕЛОВ

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ. В УЧИЛИЩЕ

той. Кто идет?

— Разводящий, со сменой.

— Разводящий ко мне, остальные — на месте.

-С Почти полная луна освещает фигуру часового в огромном тулупе, стоящего возле «гриба» перед большим каменным зданием. Разводящий быстро подходит к нему и, сказав несколько слов, командует смене. Смена четко строится влево, подходя к посту. Мы стоим в гарнизонном карауле, и весь ритуал караульной службы выполняется особенно точно.

— Подчасок 12-го поста, взять пост под охрану. Смена поста, на пост шагом арш, — раздаётся звонкий голос разводящего.

Вторая часть команды относится ко мне, и я подхожу к часовому. Часовой — мой товарищ, Колька Егоров, быстро и неразборчиво устно сдает пост, я повторяю за ним и, хотя сержант стоит рядом, ухитряюсь сказать ему, что в моей сумке в караульном помещении лежат для него две печеные картофелины. Николай снимает с шеи автомат и берет его в руку, я делаю то же самое и становлюсь спиной к нему. Он быстро выдерживает руку из тулупа, а я также быстро запускаю свою туда. Еще мгновение, и я уже в теплом тулупе. Смена отходит к моему подчаску. Они сменяются, проходит несколько минут, скрип снега под ногами уходящей смены смолкает, и мы остаемся одни: часовой первой смены 12-го поста и Юрка Горев, подчасок той же смены и того же поста.

Я знаю, что я только что заступил на пост, что мне стоять еще два часа, но какое-то непреодолимое желание посмотреть на часы (авось, да и прошло лишних пять минут) заставляет меня посмотреть на них. Стекло часов отсвечивает на лунном свете. Я долго всматриваюсь в циферблат и с трудом различаю стрелки, стоящие на 10 минутах 3-го.

Я поправляю поудобней автомат и, медленно, осторожно ступая по узенькой, протоптанной в снегу дорожке, иду к углу здания, где стоит мой подчасок. Мы с ним охраняем один из корпусов Н-ского авиационного завода. Наш пост находится в самом углу завода; с противоположной стороны здания — наше караульное помещение. А здесь, где стоим мы, в двухстах шагах от здания, тянется густое проволочное ограждение, за ним подальше — проселочная дорога, а еще дальше — темное небо упирается в белые, покрытые снегом холмы обрывистого берега Волги. Дорога вьется по обрыву и уходит в темнеющий на горизонте лес. И хотя окружающие меня предметы мне очень хорошо знакомы, сегодня они как-то выглядят особенно ярко и рельефно. На улице сильный мороз, но необычно для здешних мест тихо и безветренно. Темно-синее, почти черное небо полно звезд, луна стоит вертикально над моей головой и заливает все светом, исходящим из ее матово-стеклянного тела. Я подхожу к углу. Юрка стоит уже там, прислонившись к столбу «гриба», и ждет меня.

Юрка — мой сосед по койке. Он самый юный в нашей роте. До училища он учился в одной из московских артиллерийских спецшкол, но не окончил ее и после 9-го класса попал сюда. «Ребенок», — зовут его в роте. Я прислоняюсь к тому же столбу в полуобороте к нему. Так стоять очень удобно, можно перекинуться одним-другим словом, а вместе с тем обе стороны, охраняемые нами, видны на всем протяжении. Юрка начинает мне рассказывать, как ему удалось стащить с грузовика у заводской кухни десяток картофелин, которыми он так охотно поделился со мной. Потом он лезет в противогаз под тулупом и достает оттуда одну печеную картофелину и, разломив ее, он сует мне половину.

— На, вот еще последняя осталась, — говорит он.

Я протестую и говорю ему, чтобы он ел сам.

— Нет, ведь ты с Николаем поделился, так что я ел больше тебя, — настаивает он, протягивая мне картошку.

Я беру ее. Мы стоим еще минуту, потом почти одновременно отталиваемся от столба и идем в разные стороны. Картошка немного сыровата, но все же очень вкусна. Я, жуя ее, дохожу до угла здания, потом иду назад. Так мы ходим минут пятнадцать.

— Ты не знаешь, что в этом здании?, — спрашивает меня Юрка, когда мы с ним опять сходимся.

— Нет, не знаю. На цех не похоже, какая-нибудь лаборатория или конструкторское бюро, — отвечаю я ему, и мы, разойдясь, продолжаем равномерно ходить вдоль здания.

Проходит еще 15 минут. Мы ходим, сходясь у столба, где перекидываемся отрывочными фразами. Каждый думает о своем, но мысли солдата однообразны. В такие длинные часы караульной службы вспоминается Москва, дом, уютный круг семьи, родные и близкие лица своих, а потому, хотя мы думаем про себя, слова наши невольно попадают в резонанс нашим мыслям и не мешают их течению в голове каждого.

— Митька, ты ходил когда-нибудь вечером по Кремлевской набережной?, — спрашивает меня Юрка.

— Да, очень часто.

— Ты помнишь... — начинает он, и в это время раздавшийся шум мотора машины останавливает наш разговор. Мы оглядываемся: по дороге вдоль забора, тихо покачиваясь на неровностях, едет легковая машина с выключенными фарами. Мы провожаем ее глазами до тех пор, пока она не скрывается в лесу.

— Куда ее черт понес, — бормочу я. Резкий звон стекла, раздавшийся на моей стороне, прерывает мои мысли. Я поднимаю голову. Луна освещает здание и отражается в больших окнах. Тихо. Я уже склонен подумать, что звон мне послышался, но вдруг маленький кусочек стекла, сверкая при лунном свете, падает сверху и врезается в снег. Я схожу с дорожки и иду вдоль здания, вглядываясь в верхние окна. Юрка продолжает стоять на углу и смотрит на меня. Дойдя до половины, я вижу среди отблескивающих на луне стекол, черную выбитую дыру. Я пристально смотрю на нее. Вдруг громкий стук разбиваемого стекла, на этот раз уже с другой стороны здания, потом крик и два выстрела, заставляют меня обернуться.

Много дней спустя, возвращаясь к этому моменту, я всегда удивлялся, как быстро могли промелькнуть у меня в голове десятки мыслей, удивлялся их ясности и последовательности. Какая-то высшая сила подчинила меня в ту минуту.

То, что я увидел в первый момент, обернувшись, меня ошеломляет. Под столбом навзничь лежит Юрка, как-то странно откинутой рукой двигая по снегу. А прямо против него, возле забора, стоит человек и отрывает от столбов колючую проволоку.

— Почему же она так легко рвется? — мелькает у меня в голове, и в то же время я сбрасываю рукавицы с рук, скидываю одним движением тулуп, переводя предохранитель автомата, падаю на землю. Очередь выстрелов и пули, просвистевшие над моей головой, не нарушают хода моих мыслей.

— Стреляют из немецкого автомата... стреляет кто-то другой... надо раздвинуть ноги для устойчивости, — пронесится в моей голове. Теперь я лежу и вижу кроме фигуры у забора еще одного человека с автоматом в руках, бегущего туда же.

— Он-то и стрелял, очевидно, в меня. Решил, что я убит, — прикидываю я. — Куда бить — в голову или в грудь?.. — И, прицелившись в грудь, нажимаю курок. Короткая очередь. Человек падает.

— Хорошо, теперь другой. Удачно, что я не густо смазал автомат, — так же спокойно думаю я. В это время яркий свет включенных прожек-

Торгов с крыши здания освещает пространство передо мной. Я стреляю. Второй человек уже выползает из-под изгорода. Ряд пуль ложится около него, поднимая снег.

— Неужели мимо? Нет, это бьют справа, — рассуждаю я и снова нажимаю спуск. Человек не шевелится. Выстрелы справа, ружейные и автоматные, несколько озадачивают меня. Я поднимаю голову и тут только замечаю, что на дороге стоит легковая машина, и к ней бегут по снегу два человека. Они, очевидно, бежали в нашу сторону, но теперь повернули и бегут обратно. По ним стреляют мои товарищи с соседних постов. Машина трогается, я прицеливаюсь в заднее стекло и нажимаю спуск. Мысль «неужели уйдут» грызет меня. Еще очередь, и магазин пуст. Я отсоединяю его и хочу вставить другой. Но, приподнявшись, замечаю, что навстречу машине из леса показались четверо верховых. Они стреляют, машину заносит в сторону, она полуопрокидывается и останавливается. Из ворот с винтовками наперевес бегут к ней курсанты.

Я встаю, присоединяю новый магазин и иду к Юрке. Он мертв. Все лицо его залито кровью. Я наклоняюсь и закрываю его распахнутый тулуп. Теперь я ничего не думаю. Моя шапка падает к нему на лицо. Я поднимаю ее. Сбоку раздаются шаги.

— Стой! — кричу я с досадой на себя за то, что забыл о своих обязанностях часового.

Ко мне подходит разводящий, за ним идут начальник охраны завода и смена. Я сменяюсь. Новый часовой с удивлением смотрит на меня, повторяя слова устной сдачи поста. Сержант тоже удивлен моей пунктуальностью, но мне почему-то доставляет это облегчение, и я во всех подробностях сдаю пост. Потом я иду вместе с начальником охраны к лежащим на снегу. Они оба мертвы.

— Молодец, прекрасно стреляешь, — говорит начальник охраны, указывая на шесть дырок в пальто убитого.

Я поднимаю и рассматриваю автомат убитого, он немецкий, последнего образца. Мы идем ко второму. Его тело изрешечено с двух сторон. Это пули мои и 13-го поста. К начальнику охраны подходят с разводящим несколько человек в форме НКВД. Они начинают осматривать трупы, а я иду в караульное помещение. В 6 часов наш караул сменится внеочередным нарядом, и мы уезжаем к себе в училище.

Прошло два дня. Юра был похоронен скромно, по-солдатски. Официально для всей нашей роты, для его семьи он погиб от несчастного случая. Так думали все, а мы, немногие знавшие правду, за короткое время службы в строю уже научились молчать и не были склонны говорить о происшедшем. Койка рядом со мной была пуста, а в моей голове не исчезла мысль недоумения, которая возникла у меня перед Юриной могилой: «Почему он, а не я?» Я думал и не находил на нее ответа.

Яркий солнечный день. Группа курсантов стоит в кабинете начальника училища. Они одеты в старые поношенные гимнастерки, но их пуговицы блестят. Воротнички сияют белизной, а сапоги, как зеркало, отражают солнечные лучи. Солнце заливает весь кабинет. Знамя училища в углу. Портреты Ленина и Сталина. Золотые буквы фамилий выпускников из училища, Героев Советского Союза, погибших в боях за Родину.

— Смир-р-р-но! — командует командир батальона. Строй вздрагивает и замирает. В комнату входит полковник. Он принимает рапорт и здоровается. Строй отвечает одним дыханием и снова замирает, хотя подана

команда «вольно». Взяв со стола бумагу, полковник зачитывает приказ по училищу об объявлении благодарности составу караула. Потом он говорит о войне, о положении страны, о стоящих перед ним курсантах. Полковник замолчал. Мы готовы услышать команду о повороте и уже ослабляем ногу для него, но полковник, отступив, командует: «Курсант Якушкин, выйти из строя». Я делаю два шага вперед и поворачиваюсь кругом. Смотрю на комбата и чувствую, что выход из строя сделан достаточно четко. Полковник подходит ко мне и, глядя мне в глаза, с расстановкой произносит: «В дополнение к приказу, от лица службы, объявляю тебе благодарность» и протягивает мне руку. Автоматизм солдата, действовавший на меня все время до этого, исчезает, я не знаю, что делать, и только где-то в глубине сидящая психология гражданского человека заставляя меня расслабиться и пожать руку полковнику. Он улыбается одними глазами, а я, оторопело помолчав несколько секунд, произношу те слова, которые когда-то меня так пугали в мыслях о будущем:

— Служу Советскому Союзу! — твердо говорю я.

РАССКАЗ ВТОРОЙ. ПОСЛЕ ВЫПУСКА

Из-за прибрежных, покрытых дубовым лесом высот, медленно поднимался багряно-красный шар солнца. С левой стороны горизонта виновато, словно извиняясь, что не успела уйти до рассвета, быстро скользила огромная синяя туча с красноватым отливом на пухлых вершинах. Скупые, негреющие солнечные лучи освещали плац с лужами посередине и ряды белых палаток с натянувшейся мокрой парусиной. Сильный ветер рябил лужи и пригибал к самым палаткам молоденькие желтеющие тополя. От белых каменных зданий, резко разрезая воздух тихого утра, поплыл звук трубы, игравшей подъем. Его подхватили стоявшие на передних линейках лагеря дневальные и, перемешиваясь с голосом трубы, по лагерю пронеслись команды подъема. В палатках зашевелились. Курсанты, вылезая из-под горы соломенных тюфяков и одеял, где они спали, тесно прижавшись друг к другу, садились на низкие нары и, накручивая обмотки, делали невероятные по своей виртуозности движения, дабы не попасть ногой в огромные лужи, занимавшие центральные части палаток. Матерная ругань с ленинградскими, московскими, донбасскими оттенками окрашивала сцену в непередаваемый колорит.

До сих пор перед моими глазами ясно-ясно стоят картины этих осенних дней в Саратове, моих первых дней в строю. Ночи стояли уже холодные, шли дожди, саратовские степные ветры пробирали до костей. Вечерами после отбоя мы сбивались в кучу и, нагромождавая вокруг себя ряды одеяла и тюфяки, засыпали до утра, согревая друг друга теплом своих тел. Просыпаясь по утрам, мы, бывало, обнаруживали, что крепкие колья палатки вырваны ветром, а мы укрыты с головой мокрой парусиной, и наша одежда мокра до нитки. Мы ругались, злились, но вместе с тем были настолько глубоко заряжены солдатским оптимизмом, что тут же громким хохотом встречали каждую опрокинутую палатку, одежду, вдруг обнаруженную посередине лужи, или просто-напросто заковыристое выражение. Но иногда случалось, когда без рубашек, покрытые гусиной кожей, мы на ветру подставляли свои тела под струи ледяной воды, я вдруг ото всего отвлекался, забывая о холоде, стоял, зачарованно любясь красочными восходами солнца. Я нигде не видал таких зорь, как в

Саратове. Ветер ли, степной ли прозрачный воздух, или приволжские лесистые холмы придают восходящему солнцу здесь такую красоту, такие изумительные краски. Но я всегда был поражен необыкновенным зрелищем и с трудом отрывал глаза от неба.

Помню, как-то было особенно холодно. Солнце стояло уже высоко. Ветер рвал палатки, неудержимо продувал гимнастерки и, встретив на своем пути наши тела, вонзался в них, заставляя нас желать каждым нервом только одного — где-нибудь скрыться, загородиться от этого свирепого ветра. Можете представить, какое было у нас настроение в тот день, когда наш помкомвзвода объявил, что предстоит занятия по химделу, причем не в классе и не в палатке, а на улице, в поле. Но делать было нечего, взвод был построен, и мы, пряча руки в потрепанные рукава коротеньких гимнастерок, с пением и свистом зашагали к месту занятий. Это были наши первые занятия по химделу, и десятки глаз с любопытством рассматривали нового преподавателя — подполковника Ч., которому взводный отрапортовал о готовности взвода к занятиям. Расположились мы на заросшем травой бруствере полузасыпанного окопа на нашем учебном плацу. Подполковник был среднего роста, плотный, в гимнастерке, туго перетянутой ремнями. Седые волосы были коротко подстрижены и по всему его виду, по аккуратно заправленной коверкотовой гимнастерке, по высокому, туго натянутым хромовым сапогам, можно было узнать кадрового военного. Сухим, резким голосом он приказал нам достать тетради и, вынув из планшетки толстый блокнот, так же четко стал рассказывать о признаках и свойствах отравляющих веществ. Ветер продолжал свирепствовать. Уже через пятнадцать минут мы буквально посинели от холода. Писать было практически невозможно. Я беспрерывно передвигал пилотку с уха на ухо, чтобы хоть немного согреть их, но безуспешно. Подполковник диктовал быстро, и тот, кто хоть чуточку отвлекался, чтобы хоть немного отогреть руки в кармане, вынужден был пропускать кусок из диктуемого.

«Когда же он закончит», — думал каждый из нас и злобно глядел на методично расхаживающего перед нами подполковника. Так прошел первый час. Во время перерыва несколько курсантов попробовали было сказать подполковнику, что очень трудно заниматься в таких условиях, но тот спокойно ответил, что это дело командования выдавать нам шинели, а он обязан провести свои занятия, и из его слов можно было понять, что ему абсолютно нет дела, мерзнем мы или нет. Сказав это, он велел нам продолжать занятия. И снова началась диктовка. Многие, не успевая записывать, бросили карандаши, спрятав руки в карманы, только смотрели на подполковника, отмеряющего четыре шага вперед и обратно, и мучительно отсчитывали бесконечно тянущиеся минуты. Подполковник поднял руку, чтобы посмотреть на часы, и кто-то заметил, что под гимнастеркой у него надет теплый шерстяной свитер. Это наблюдение, как и подобает всем данным разведки, было доведено до сведения каждого, что вызвало еще большие, к сожалению, мысленные, ругательства в адрес подполковника.

А ветер между тем не утихал. На плацу сидел только наш взвод, остальные занимались в помещениях, и, очевидно, мы, оставшиеся, вызывали все усиливающийся напор и гнев ветра. Можно сказать, что мы доходили уже до самой последней точки замерзания. Но, наконец, подполковник закончил и, потребовав список взвода, начал делать переключку. Закончив и ее, он, не попрощавшись, повернулся и пошел к училищу. Нас

словно прорвало. Не успел он еще скрыться из виду, как человек десять наших талантов принялись передразнивать его интонацию, движения, в то время как остальные наперебой давали ему самые красноречивые характеристики.

И никто из нас не мог и предположить, что в это время подполковник сидит в кабинете комбата и докладывает об им точно установленных и зарегистрированных по списку курсантов, кто не вел записей на занятиях, и что по его настоянию они должны быть направлены на внеочередную работу на несколько воскресных дней вперед за халатное отношение к ведению конспектов по химделу...

История эта имела неожиданное продолжение. В те дни пароходы по Волге почти не ходили. Толпы желающих уехать обложили весь берег реки возле пристани и густо и основательно расположились на нем. Правее спуска к пристани, около самого берега, стояли две большие баржи. К ним были сделаны бревенчатые помосты-сходни из свежих неотесанных бревен. Несколько человек плотников, руководимые капитаном в форме танковых войск, скрепляли скобами последние бревна помоста возле барж. Сами же помосты и весь берег возле них был забит той же огромной толпой. На спуске к пристани показался строй бойцов. Четко отбивая ногу, с винтовками на плечах, горланя во все горло «Любушку», подходили два курсантских взвода. Последние, резко выброшенные слова песни, несколько глухих ударов ног, и строй, остановленный командой, стукнув прикладами винтовок, замер у бревенчатого помоста. Два взводных, посоветовавшись друг с другом, пошли к баржам, а за ними, выходя из строя, справа по два, шагая через людей, лежавших на помостах, лавируя между коровами, сундуками, спящими женщинами с грудными детьми, тронулись курсанты. Командиры взводов зашли на баржи, курсантские же цепи остановились, повернулись друг к другу спинами и, взяв винтовки перед собой, стали медленно очищать помост от людей.

Боже мой, что здесь поднялось! И без того шумливая толпа завопила, заголосила и обрушила на головы курсантов многоэтажную ругань на всевозможных языках. Но курсанты не останавливались до тех пор, пока помосты и дорога к ним не были освобождены, а они не стали шеренгами по их краям. Почти одновременно с этим на улицах, ведущих к Волге, раздался шум моторов, и один за другим на пристани показались танки. Здесь были и КВ, и 32-е, и 26-е, и БТ. Это танковое училище посылало на фронт своих выпускников-досрочников, наделив их боевыми машинами и экипажами из своего учебного парка, в котором они не успели даже доучиться. Время было тяжелое, техники не хватало, и из тыловых частей подчищали все материальные ресурсы для посылки на фронт. Железные дороги были забиты, сформированные в училище батальоны должны были подняться по Волге вверх и уже оттуда ехать на фронт. Вот для их-то погрузки и были очищены сходни к баржам курсантами того же училища.

Я стоял в составе цепи на краю помоста и, слегка облокотившись руками на штык, старался не слушать ругань, произносимую в мой адрес. Между тем началась погрузка. Бревна, на которых я стоял, прогибались под тяжестью машин. Один за другим танки заходили на помост. Экипажи, поставив машины, выходили на берег, где собрались для прощания родственники, знакомые. Вдруг мои соседи по цепи зашевелились, под-

тягиваясь и выпрямляясь из свободных поз, в которых они стояли. По сходням, в сопровождении одного из уезжающих комбатов и только что выпущенного лейтенанта, шел полковник, начальник училища.

— А где же отец? — услышал я вопрос полковника, когда они приближались ко мне.

— Дома сидит. Начал сдавать старик, — ответил лейтенант и встряхнул головой, как бы отгоняя от себя что-то неприятное.

Они вошли на баржу

— Кто это? — спросил я соседа.

— Говорят, сын нашего подполковника по химделу, — отвечал тот.

— Да, это сын подполковника Ч., — подтвердил взводный, подойдя к нам.

— Вот ведь едет на фронт, а мог бы и тут остаться, — продолжал командир взвода. — Ведь его отец с начальником училища первые приятели. Полковник и предлагал ему оставить сына преподавателем, но отец не захотел. Пускай, говорит, как все едет. Я, говорит, сам воевал, пускай и он повоюет...

Между тем к баржам подошел буксирный пароход и начал цеплять их. Оркестр заиграл «Интернационал», отъезжающие курсанты быстро прощались и убегали на баржи. Одним из последних, обнявшись и поцеловавшись с начальником училища, туда вскочил сын подполковника. Буксир заревел. Баржи медленно отваливали от берега. Стоя на палубе, на корпусах машин танкисты махали шлемами, кучка провожающих военных стояла с руками у козырьков, только полковник, обнажив седую голову, махал фуражкой, да еще капельмейстер, такой же седой, дирижируя одной рукой оркестром, другой махал платком. «Скоро ли мы так же поедем?», — думал я, провожая глазами баржи. В это время я обернулся и увидел, что рядом со мной на бревне украинка, только что так буйно ругавшая меня, стоит и плачет, вытирая слезы кончиками головного платка. Все лицо ее наполнено какой-то величественной строгостью, у ног ее копошился маленький мальчишка, но она не слышала его и только глубоко вздыхала всей грудью, а крупные слезы ее падали на голубую ситцевую кофточку. И тут я только заметил, что вся окружавшая нас толпа замолкла и напряженно смотрела вслед отходящим баржам. И строгость, которую я увидел на лице моей соседки, написана и на их лицах. Вот стоит вся сморщенная старушка. Она крестится и кланяется в сторону барж. Рядом несколько женщин тихо плачут в платки, какой-то пожилой солдат с окровавленной повязкой на голове козыряет уплывающим баржам. Вот несколько моряков в пулеметных лентах оторвались от своего завтрака, вытянулись, глядя на реку... Команда взводного вывела меня из оцепенения. Я вскинул винтовку и пошел в строй.

За все последующее время моего пребывания в училище я мало сталкивался с подполковником Ч. Он перестал преподавать в нашем батальоне, и мы о нем знали только как о преподавателе, который был особенно придирчив к курсантам. Как-то один из моих товарищей по роте случайно не поприветствовал его и заработал тем самым десять суток ареста. О подполковнике Ч. говорили как о черстве, педантичном человеке, и за это он не пользовался большой любовью в нашей среде, хотя его подтянутость, умение себя держать и весь его подлинно офицерский облик нам нравились...

Через год после выпуска я стоял со своей частью в Кузьминках под Москвой. В один из теплых весенних дней я проводил занятия со своей ротой по выверке танкового оружия. Мы вывели из расположения части пару машин на полигон возле Люблина, расставили мишени и начали заниматься приведением оружия к нормальному бою.

Бойцы были разбиты на три точки, точками руководили командиры взводов, взводные были опытные, и мне делать было нечего. Я сидел на броне, грелся на солнце и лениво слушал доносящийся из башни голос Ваньки Горева, проводившего занятия. Перед моими глазами шла дорога в Люблино, а за ней тянулось только что освобожденное от снега вспаханное поле. От него к нам в ложину сбегали ручьи, и я наблюдал, как через них прыгали редкие прохожие, идущие по дороге. Вот на дороге показался какой-то военный. Он шел, сильно сгорбившись, опираясь на палочку. Можно было видеть, как он останавливался перед каждым ручьем, долго топтался на месте и только потом с трудом переходил через него. Мне стало досадно на него смотреть и я отвернулся.

— А что, среди вас никого нет из Саратовского училища? — раздался через несколько минут голос около моей машины.

Я поднял голову и увидел, что возле танка стоит только что виденный мною неуклюжий прохожий. Лицо его мне показалось знакомым.

— Есть, — ответил я, спрыгивая прямо с башни на землю.

Передо мной стоял человек с взлохмаченными грязно-седыми волосами, выбивающимся из-под фуражки, с морщинистым, давно не бритым старческим лицом. «Кто же это?» — подумал я. Между тем он протянул мне руку и тихо спросил:

— Вы не знаете меня?

— Нет, знаю, — ответил я, пожимая его руку. — Вы — подполковник Ч.

— Так точно, — улыбнулся он, и только в этот момент я действительно поверил в то, что это был подполковник Ч. Но, Боже мой, как он изменился и постарел! Бойцы выглянули из люка машины и смотрели на нас. Чтобы не мешать им, мы, полуобнявшись, отошли от танка. Из десятиминутного разговора я узнал, что подполковник командует батальоном в Калининском химучилище. Также в нескольких словах я рассказал ему о себе. После, когда он уже ушел, я понял, что он многочисленными, а бы сказал, ласковыми вопросами, заставил меня рассказать о себе значительно больше, чем сам он сказал мне. Хотя в разговоре выяснилось, что он, как и следовало ожидать, лица моего не помнит и даже удивлен, что я его знаю. Он сказал мне, что торопится на занятия. Он попросил меня зайти к нему, попросил приехать на танке, чтобы показать курсантам-новобранцам боевую машину, о которой они имеют весьма смутные представления. В конце разговора, после небольшой паузы, он спросил меня, знал ли я его сына. Я ответил отрицательно. Его губы и нижняя челюсть вдруг затряслись, глаза по-старчески сразу наполнились слезами, и он из человека, несколько прибодрившегося и имевшего хоть какой-то воинский вид во время нашего оживленного разговора, вдруг сделался совершенно разбитым дряхлым стариком.

— Убили его, — прошептал он и, уже больше не сдерживаясь, заплакал.

Я взял его под руку, и мы тихо пошли по дороге. Чуть пройдя, он остановился.

— Ну, Вам надо идти, — сказал он. — Можно мне обнять Вас?

Мы, как это вновь стало традицией в эту войну, троекратно поцеловались и остановились, держа друг друга за руки, смотря друг другу в лицо.

— Вы простите меня, — сказал он. — Ведь мне уже скоро семьдесят.

Я еще раз обнял его и смущенно пробормотал что-то невнятное. Мы пожали руки и разошлись. Отойдя несколько шагов, я поднял голову и увидел подполковника, смотрящего на меня со смущенным лицом, и руку, которой он в воздухе крестил меня. Я сделал вид, что не заметил, и пошел к машинам.

Ванька Горев, высунувшись из люка, спросил меня: «Кто это?»

— Помнишь Саратов? Подполковник Ч. Он потерял сына, — ответил я.

— Не может быть. Вот бы никогда не мог себе представить его таким, — ответил он.

Еще через год я был направлен на учебу в Академию Сталина. Офицерская корпорация очень охотно делится на землячества по городам, в которых заканчивала курсантские училища. И в Академии, встретив саратовцев, я узнал, что осенью 1942 года в бою под Моздоком старший лейтенант Ч., отказавшись сдаться, был заживо сожжен немцами в подбитом танке КВ. Его товарищи по бригаде после разгрома немцев нашли этот танк, а под ним останки офицера вместе с экипажем и похоронили их на кладбище моздокского пригорода.

РАССКАЗ ТРЕТИЙ. В СОРМОВЕ

Старенький сормовский паровозик без тендера тяжело вздохнул и, напрягая свои последние старческие силы, медленно потянул на заводской двор десяток платформ. На платформах стояли искалеченные, с зияющими дырами, с погнутыми орудиями, с погоревшими кузовами разбитые танки. Строй бойцов уходил по шоссе на противоположную сторону, старшина роты удивленно оглядывался на меня, а я стоял и не мог оторвать глаз от машины с пожелтевшей надписью «За счастье» и черной круглой дырой в башне немного пониже буквы «ч», которая медленно уплывала в открытые ворота заводского двора...

Это было перед самым выпуском. Помню, в этот день дневальный принес почту только после ужина. Я стоял, прислонившись к колонне, и смотрел на оживленные лица ребят, окруживших дневального и расхватывающих письма. Письма в армии — большая редкость. Я чувствовал, что мне опять ничего не будет и, не дожидаясь конца раздачи, пошел к своей койке, чтобы лечь спать. Через открытое окно дул слабый теплый ветерок, на улице было тихо, и только окрики часовых нарушали покой засыпающего училища. Понемногу стала затихать и казарма, я долго смотрел на звезды, считая, сколько их помещается в рамке верхнего окошка, а потом незаметно для себя стал засыпать. Вдруг я почувствовал, как чья-то нога наступила мне на живот и кто-то прыгнул на мою постель. «Ты спишь?» — раздался голос Володьки Слизкова. «Конечно, сплю, — отвечал я недовольно. — Тебя бы еще в час ночи приперло». — «Я сегодня буду спать у тебя вместо Николая, он уступил мне, — говорил Владимир, расстилая простыню на соседнем тюфяке. Я спал последний месяц один, и на соседнюю койку ко мне ежедневно приходил кто-нибудь из

моих друзей «в гости». «Тебе хочется спать? — с грустью спросил он, укладываясь поудобней и закрывая ноги одеялом. Володька, общий любимец роты, когда-то, до армии, учился в Ленинградской консерватории, а здесь, в училище, был самым неутомимым плясуном, запевалой, гитаристом. Всегда веселый, живой, он по-мальчишески сердился, когда слышал пессимистические разговоры и однажды даже дал по морде одному курсанту, когда тот стал доказывать о неизбежности сдачи Сталинграда.

«Ты же, подлец, мне все равно спать не дашь», — отвечал я. «Точно, — сказал Владимир и вдруг, схватив подушку, стал колотить меня ею. — Она жива! Жива, Митька, ты понимаешь, она жива!» — одним духом выпалил он, продолжая колотить меня. «Не может быть», — вскрикнул я, садясь в свою очередь на постель. «На, читай...» — И он протянул мне письмо. Я достал из-под тюфяка свечку, зажег ее и, закрывшись с головой одеялом, стал читать. Но не успел я прочесть и двух строк, как Володька не выдержал, и его голова просунулась под одеяло. «Давай вместе читать», — предложил он.

Письмо было от девушки, которая любила Владимира. Два уголка своей души Володька открыл только мне, хотя никаких оснований и поводов для этого не было: о своем отце, старшем механике крупного военного корабля на Балтике, трагически погибшем во время финской кампании; и о Еленке — девушке, с которой у него был, по его словам, «старый, давний роман». Вот от нее-то и пришло письмо. Она была медсестрой в Ленинграде, была там всю блокаду, была ранена, лежала в госпитале в Средней Азии и по выздоровлении была направлена для работы в один из госпиталей прифронтовой полосы. Она писала, что вся ее семья погибла в Ленинграде, что она не писала так долго, потому что ее правая рука была перебита, а она не хотела, чтобы Володя узнал о ней от кого-нибудь другого. Письмо было наполнено таким хорошим чувством к нему, такой прекрасной женской любовью и заботливостью, что я был удивлен. Я читал ее письма, написанные прошлой осенью, когда они только что расстались. Тогда письма были более наивные, почти детские. Это же письмо было написано взрослым человеком, много видевшим и пережившим, с сильным чувством. Я кончил читать и посмотрел в странно блестящие глаза Владимира. Он покраснел и задул свечу. «Ах, Митька, Митька, если бы ты только знал, что это за человек», — сказал он. «Знать не знаю, но думаю, что представляю», — сказал я, улыбаясь. «Нет, ты слушай», — и он начал говорить то, что могут говорить только влюбленные, со всеми милыми для них мелочами, вроде ямочек на щеках и завитков на шее. За окном уже дважды сменились часовые, а Володька все говорил и говорил. Наконец, он замолк, уставившись в одну точку. Я смотрел на его красивое оживленное лицо с блестящими в темноте глазами, слабо освещенное ночной лампой, мне стало немножко завидно, и я отвернулся.

— Митька, дорогой, почему ты никогда ничего мне не рассказываешь?

— Нечего рассказывать, Володька.

— Врешь, ты просто не хочешь. А ты знаешь, почему я только тебе могу рассказывать?

— Нет, не знаю, — усмехнулся я.

— Помнишь, когда мы с тобой говорили о смерти папы, ты сразу понял, почему он для меня как живой. Понимаешь, я не хотел его видеть мертвым и не могу его представить таким, он для меня такой же, с жел-

тыми усами и грубкой в зубах. Он так смешно сердилась, когда Еленка обыгрывала его в шахматы. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Он помолчал, потом снова подал голос:

— Митя, ты правда веришь в то, что человек не может погибнуть зря?

— Не только верю, но и знаю это. Человеческая жизнь слишком ценна, чтобы она могла исчезнуть зря: на войне может быть хорошая смерть, но плохая — никогда, — ответил я.

Это была тема, о которой мы как раз много думали и говорили в последние дни перед этим. Повернувшись несколько раз вокруг себя, Володька продолжал: «Ты знаешь, мне бы больше всего хотелось, чтобы Еленка всегда вспоминала меня весело, как о живом, даже если меня убьют. Ты, знаешь, когда она веселая, она еще лучше становится, я страшно люблю, когда она смеется. Мне будет приятней, если она будет так думать обо мне... Ну, будем спать». — «Будем спать». Но Володька еще долго ворочался с бока на бок, чиркал спичками и, наконец, я услышал его ровное дыхание. Немного погодя заснул и я. Проснувшись рано утром, я увидел раскинувшегося во всю постель Володьку, на губах у него была улыбка, в одной руке он держал спички, а в другой было зажато письмо и фотокарточка девушки с большими черными глазами...

Настал другой день, мы все стояли в последний раз в безукоризненном курсантском строю и слушали приказ наркома об очередном выпуске лейтенантов танковых войск из нашего училища. «Вы — дети одной семьи, воспитанники Саратовского училища, — закончил свою речь полковник. — Не забывайте никогда об этом».

Владимир, я и многие другие получили назначение в Горький, и через несколько дней мы покинули Саратов.

Расстелив шинель на танке и подложив сумку под голову, я лежал и с удовольствием смотрел на осеннюю стайку синиц, корольков и поползней, которые с писком перелетали с ветки на ветку соседних сосен, следуя за своим важным предводительствующим пестрым дятлом с обципанной в драках головой. Не хотелось ничего делать, никуда двигаться. Погода стояла всю эту неделю чудесная. Настоящее бабье лето. Дождей давно не было, целый день светило солнце, было тепло, хотя по утрам уже бывали заморозки. Небо было синее-синее, без единого облачка. «Пинь, пинь», — передразнивал я кузнечика, сидевшего напротив меня, потом, завернувшись в брезент, решил соснуть. «Куда тебя черт занес? — раздался голос, и я увидел Бориса, который подходил к моей машине. — Я тебя целый час жду. Знаешь, пришла какая-то девушка, спрашивает Володьку Слизкова, ей сказали, что он здесь, а ведь ты знаешь, что он уехал на погрузку». Сонливость сразу слетела с меня: «Где она?». — «Там, на опушке». Я бегом к ротному, сказал, что мне нужно в город, и бросился к лесу. На опушке, возле будки часового, прислонившись к сосне, стояла девушка. Из-под синего со звездочкой берета выбивались густые, черные, немного вьющиеся волосы. Большие-большие глаза были устремлены куда-то в одну точку. Волосы и глаза подчеркивали нездоровую бледность лица. Она была в военном плаще, из-под которого выглядывало светлое шелковое платьице.

— Вас зовут Леной? Вы к Володе? — обратился я к ней.

— Да-да, где он?

— Он уже уехал.

— Куда?

— На фронт. Сейчас я провожу Вас к нему, — ответил я, назвав себя, и поздоровался.

Мы вышли на шоссе, так как до поезда надо было ждать шесть часов. Мне не хотелось говорить; ей, очевидно, тоже. По шоссе прошли две автомашины, но, несмотря на мой резкий окрик, обе не остановились. Тогда я сошел с дороги в лес и, увидев первого попавшегося водителя-танкиста, отдал ему свои талоны на обед и ужин и попросил выехать на шоссе. Первая же машина, остановившаяся в недоумении перед стоящим поперек дороги танком, была вынуждена посадить нас. Лена села к водителю, я в кузов, танк съехал с дороги, и мы помчались. До этого я почти ничего не говорил Лене. «Только бы успеть, только бы успеть», — думал я. Я помнил, что когда ночью Володька прощался со мной, он сказал, что, по всей вероятности, они уедут до обеда. Доехав до вокзала, я бросился на товарную станцию. Лена не отставала от меня, по-видимому, она понимала, несмотря на мои успокоения, что мы можем опоздать. Увидав сквозь раскрытые ворота стоявшие вдоль линии танки, я замедлил шаг. Мы подошли к машинам, среди шума голосов я различил голос Владимира, он громко ругал кого-то в самых сложных русских выражениях. «Подождите меня здесь», — сказал я и быстро побежал вперед. «Владимир, мне нужно с тобой поговорить», — окликнул я Слизкова, взял его под руку и повел вдоль машин, изо всех сил стараясь не улыбаться и делать вид, что ничего не произошло. Володька говорил, что сейчас будут грузиться, что отъедут только к вечеру. «Ты знаешь, какой мне водитель попался», — начал он, ругаясь, но я быстро закрыл ему рот. «Не знаю и знать не хочу, ты не ругайся, а лучше посмотри, кто стоит за этой машиной», — сказал я и толкнул его в проход между танками, а сам пошел к его командиру роты. Договорившись с последним, я пошел к Володьке и Лене.

Более непохожую друг на друга пару трудно было представить. Перед огромным, широкоплечим Володькой с белокурыми волосами и здоровым румянцем на щеках Лена выглядела еще более маленькой и хрупкой. «Еленка, а почему ты не в военном? — услышал я, подходя. «А ведь ты не любишь, когда я в форме, вот я и переделалась». — «И здесь верны себе», — подумал я и подошел к ним. «Что это у Вас?» — спросил я Лену, заметив кровь у нее на шее. «Это я запачкал», — сказал Володя, показывая свою руку с содранной кожей. «Дай», — сказала Лена, взяла его руку и поцеловала ссадину на ней, не обращая ни малейшего внимания на меня. «Ну, вот что, друзья, — сказал я. — Идите отсюда и приходите к отправке, я уже договорился, машину заведу на платформу и все сделаю. Идите». — «Пойдем, пойдем», — потянула Лена за руку Владимира. «Постой», — отвечал тот, улыбаясь, но потом, пожав мне руку, пошел за ней. Я проводил их взглядом и пошел к машинам. Действительно, водитель Владимира оказался пожилым человеком, для которого танк после трактора представлялся непостижимым божеством. После того как он заглушил мотор на самом выезде на платформу и как раз когда пришло начальство, я сел за рычаг, завел машину и все остальное время был непрерывно занят мелкими делами по приведению машины в окончательный порядок. Начинало темнеть, комендант станции доложил, что дает отправку эшелона. Мимо нас в голову состава, выпуская пар, прошел огромный паровоз «ФД» и начал медленно выводить платформы из тупика. Я начал волноваться. Но вот, ловко вскочив на ходу, к танку поднялся Владимир. Он сел рядом со мной на башню и, до боли сжимая мою руку, неподвижно смотрел на выделявшийся в темноте на фоне снарядных ящи-

как силуэт девушки». «Самое грустное, — произнес он, — это то, что мне не на кого ее оставить». — «Ничего, все будет хорошо, дорогой», — ответил я, обнимая его. «Прощай, Митя, спасибо тебе». — «До свидания, Володя», — громко сказал я. Мы три раза поцеловались, и я соскочил на насыпь. К составу быстро подбежала Лена, и когда состав на минуту остановился, они обнялись с Владимиром. Раздался длинный гудок, резкий лязг буферов, и эшелон, с каждой мгновением ускоряя движение, тронулся вперед. Заиграл духовой оркестр, мы взяли под козырьки. Постукивая на стыках, проходили платформы, черные фигуры танкистов стояли на них, махая шлемами. На последней платформе показался красный фонарь, и по рельсам, удаляясь за составом, поползли розовые блики от него.

Вдруг маленькая девушка прильнула ко мне, растрепанная головка спряталась в расстегнутой шинели, я почувствовал, что она плачет. Я обнял ее одной рукой и тихо повел к вокзалу. Я знал, что нельзя молчать, но язык у меня словно одеревенел, и я не мог и слова выдать. Она заговорила первая, спросив меня, давно ли я знаю Володю. Я начал рассказывать ей о наших отношениях, об училищной жизни, о разговорах с ним. Мы пришли в Д.К.Л. Я выдал ее за дочь полковника, уехавшего на фронт, а себя за его адъютанта, но, несмотря на это, только после большого скандала добыл ей отдельную комнатку и талон на еду. Оказалось, что она с утра ничего не ела. Незаметно для нее, в разговоре, я заставил ее съесть довольно большую порцию хлеба с колбасой. Было уже очень поздно. Мы сидели рядом, не зажигая света, в ее комнате, на койке и говорили. Сначала я, а потом начала рассказывать она. «Ну, посидите еще немножко, немножко», — говорила она мне, когда я несколько раз порывался уйти. Наконец, когда время приблизилось к последнему ночному поезду, я решительно начал прощаться. «Я приду завтра проводить Вас», — сказал я ей. Она пожала мою руку и, вдруг вскочив с постели, поцеловала меня в лоб. Я склонился, поцеловал обе ее руки и вышел из комнаты. На поезд я опоздал. Когда я утром вошел в землянку усталый и грустный, я нашел на двери записку, где ротный сообщал мне в лестных словах, что рота уехала на завод. В этот же день, поздно вечером, под звуки того же оркестра, такой же паровоз увозил меня вперед, на запад...

Через два месяца военные дороги привели меня снова в Горький. Уже началась зима, и молодой пушистый снег покрывал землю. Снега было так много, что уже на второй день ездили на санях. Я проводил занятия по устройству немецких танков на свалке машин возле заводского двора. Поскольку народ начал замерзать, то я окончил занятие раньше срока и повел роту домой окольным путем вдоль линии железной дороги. Переходя линию возле станции, мы остановились перед десятком платформ со стоявшими на них разбитыми танками. Пока маневренный паровозик побежал за вагонами, я подвел строй к платформам и обратил внимание бойцов на круглую пробину в одной башне танка. «За счастье», — было написано на башне. «Вот характерное попадание термитного снаряда, — говорил я, — очевидно, неопытный механик-водитель не заметил пушки и подставил борг. Учтите это и для себя: если у меня кто-нибудь подставит так машину, я ему пропишу. Вот, видите, командир машины-то, небось, от счастья на тот свет пошел, а, пожалуй, даже и башнеру попало, ибо выстрел дан с очень небольшой дистанции». — «Сейчас посмотрим, так ли это», — продолжал я, влез на машину, вынул ключ и открыл баш-

ню. «Как не странно, а башнер остался цел», — подумал я, залезая в люк. На коже орудия я увидел пятно густой запекшейся крови. Взглянув на командирскую линейку, я увидел белую надпись. Она была настолько невероятна, что я снял перчатку и протер глаза, усомнившись, правильно ли я прочел. На щитке красивыми буквами белой масляной краской было написано: «Вл. Серг. Слизков».

Бойцы задавали мне вопросы, но их смысл до меня не доходил. «Ведите людей, а то опоздаем на обед», — резко приказал я старшине, не вылезая из башни. Паровозик между тем подвез еще вагоны, сцепил их с платформами и дернул. Я все еще ничего не понимал, потрогал пальцем темное пятно на коже: мне на руку сыпались сухие, темные крошки крови. «Дай», — послышалось мне и почудилось, что я ощущаю на губах солоноватый вкус крови...

Я соскочил на землю. Одна за другой платформы уходили в ворота. Когда скрылась и эта платформа, я поспешно достал записную книжку и нашел в ней надпись, написанную четким почерком Лены. «Мой адрес», — прочел я, и вдруг в моих ушах раздался знакомый до ужаса голос: «Я бы хотел, чтобы она всегда вспоминала обо мне весело, как о живом». Я захлопнул книжку и побежал догонять строй...

В воздухе густо кружился рой белых снежинок, а по шоссе, гремя сталью и разбрасывая снег, проходили белые танки. Из открытых люков высывались головы танкистов в черных шлемах. Танки шли на погрузку, доказывая вместе с падающим снегом, что жизнь идет, продолжается, и ничто в мире не повлияет на ее спокойный и неизбежный ход.

